

Глеб Иванович Успенский

Не случись



Глеб Иванович Успенский

Не случись

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665565*

Аннотация

«...Рассказ ярко изображает различные стороны хозяйственного и морального разложения пореформенной деревни, беззащитность крестьянина перед лицом капиталистического развития и порождаемых им влияний.

Описанное в первой половине рассказа дело Ивана Горюнова слушалось в Вологодском городском суде 24 сентября 1882 года. Как свидетельствуют воспоминания поэта В. Г. Гусева, Успенский лично присутствовал в суде во время слушания дела Горюнова, беседовал о нем с Гусевым, выступавшим в качестве свидетеля по этому делу, и принимал живое участие в судьбе подсудимого...»

Содержание

Примечания

50

Глеб Иванович Успенский

Не случись

Недавно в газетах был напечатан небольшой, но в высшей степени замечательный уголовный процесс. Слушался он в вологодском окружном суде и состоит в следующем. Более двух лет тому назад, именно около Петрова дня 1880 года, железнодорожный сторож нашел в реке Шаграш, около моста Ярославско-Вологодской линии, джутовый мешок, в котором, по вскрытии, оказался труп убитого человека, разложившийся до такой степени, что только по одежде можно было догадаться, что убитый – мужчина. Открытие этого трупа напомнило (не знаем, властям или обществу) о загадочном исчезновении несколько месяцев тому назад одного из посетителей гостиницы «Вологда», пользующейся весьма сомнительной репутацией. Началось следствие, которое через несколько времени открыло виновного. Убийцей оказался коридорный или половой гостиницы «Вологда», крестьянин Иван Васильев Горюнов, и вот какое поразительное и потрясающее показание дал этот Иван Горюнов на суде:

«Года за два раньше, как я убил Крамского (фамилия убитого), к нам в гостиницу «Вологда» приезжал какой-то господин, повидимому купец. Жил он у нас в гостинице дня четыре и больно сильно кутил, пьянствовал. Когда этот господин уезжал, он подарил мне золотые часы с цепочкой и

сказал: «Спасибо тебе, что ты сберег меня, – всё в целости; у меня, говорит, было девяносто три тысячи рублей». Потом гость этот попросил проводить его на вокзал; я проводил, и тут он еще дал мне двадцать пять рублей и еще три рубля. Пришел я домой и показал буфетчику и хозяину часы, что мне подарил гость. Хозяин спросил: «За что ж он подарил?» – «За то, мол, что у него девяносто три тысячи с собой было, и все остались в целости». – «Эх ты, – говорит хозяин, – не умеешь деньги наживать! Так будешь делать – и помрешь бедняком...» Потом хозяин говорит, чтоб я заманивал гостей, обещая им продавать какие-то банковые билеты с большой уступкой... Зимой 1880 года к нам в номера приехал какой-то господин с девушкой... Выпивали они тут. На другой день, часов в девять, девушка ушла, а господин остались одни. Стали рассчитываться и дали мне сторублевую бумажку. Ну, я пошел в буфет, увидел там хозяина и говорю: «Господин, должно быть, богатый – всё сторублевки». Хозяин сказал: «Погоди-ка носить сдачу, я взгляну сначала, что за господин такой». Вернулся он и говорит: «Это человек мне знакомый, денежный человек». – «Как же тут быть?» спрашиваю. «Сам, говорит, знаешь – не малолеток... Река все унесет». – «Страшно, говорю, как-то...» – «А ты выпей стакана два водки – страх-то как рукой снимет... А чтоб свидетелей лишних не было, мальчишку-то в полицию пошли за паспортной книгой...» Сказал это, а сам ушел в другую свою гостиницу, «Россию», через дорогу. Выпил я

водки, послал подручного Николая в полицию и понес сдачу в третий номер. Господин лежал на постели, опершись на локотки, и выпивали... Стол около кровати стоял с бутылками... Тут же лежал молоток, который я принес накануне, чтобы вбить задвижку, как господин приказали... Я взял молоток и ударил господина по голове раз и два... Как ударил – спереди или сзади – хорошенько не помню. Вытащил деньги из кармана брюк и, не считая, сунул их себе в карман. Вытащил покойника в четвертый номер, а сам стал прибираться в третьем. Окровавленную простыню и наволочку засунул в печь и сжег. Обои около кровати оборвал, пол подтер, а пятна на матрасе и подушке слегка замыл водой. Потом вернулся к покойнику, перетащил его через пятый номер в чуланчик, который был рядом, и спрятал его в рундук под лестницей, отодрав для этого плинтус. В это время, слышу, вернулся Николай. Я пошел к нему навстречу и велел прибраться в номере третьем. Он после спрашивал: «Что это вода в тазу кровавая и на полу кровь?» – «Это, говорю, гость не расплатился с девицей, она ему и раскровянила морду», – «Как же, говорит, он ушел в таком виде?» – «Умылся, говорю, да и ушел...» Ну, он и поверил. Часа через два после убийства пришел хозяин. Я ему и подал все деньги, не считая. «Мало, говорю, денег-то». – «Врешь, говорит, не может быть столько, ты утаил». Я побожился. Он взял все деньги, а мне дал немного мелочи... На другой день начались розыски покойника. В гостиницу приезжала его родственница с зна-

комым, ходила полиция... Мы ответили, что гость расплатился и уехал неизвестно куда. *Так как околоточный пьет у нас всегда водку и все такое*, то номера осматривать он *постыдился*. Тут меня взял страх, тоска напала... Я все ходил в рундук, смотрел, лежит ли там покойник, иногда сидел там и плакал... Хотел идти дать знать полиции; сказал об этом хозяину, а он говорит: «Дурак и будешь – ни за грош пропадешь. Меня все равно не оговоришь – не поверят; я и в гостинице-то в это время не был». Ну я и не пошел. После рождества отпросился я у хозяина домой в деревню, взял у него денег и уехал, захватив шубу покойника, которую раньше спрятал... И в деревне тосковал, но родным об этом ничего не говорил. Приехал опять в город к хозяину. Перед пасхой сукровица проникла через потолок, пошел по номерам скверный дух. Меня все пуще стала тоска забирать, и я все чаще стал ходить к покойнику, смотреть на него. Потом перетащил его из рундука в другой угол чуланчика и положил под рамы. Дух все сильней по номерам расходится... Гости стали жаловаться. Я все собирался вывезти, да все случая не было, а хозяин не помогает и тоже говорит: «Убери!» В конце июня я положил покойника в мешок, завязал веревкой, пошел, взял извозчика и ночью поехал окольной дорогой за город на реку Шаграш. Бросил там мешок и возвратился... Потом вскорости слышу, что нашли покойника. Полиция пришла и взяла с меня расписку о невыезде... Я сказал хозяину. Он говорит: «Ты поди в полицию и скажи, что у

тебя просрочен паспорт, чтоб они отпустили тебя». Полиция не отпустила. Тогда я сам ушел домой... Но тут меня арестовали и представили в стан. Я и открылся, что я убил...»

Вот показание главного действующего лица, которое мы привели от слова до слова.

Здесь все в высшей степени любопытно и поучительно; Поучительно то, что хозяин, который, как видно из показания, был душой всей этой операции, признан виновным не «в подстрекательстве с корыстной целью», а только «в знании и укрывательстве». Любопытна и поучительна фигура и этого блюстителя порядка – околоточного, который, помня трактирную хлеб-соль и «все такое», *стыдится* осматривать номера, где совершено это убийство – убийство, которое он несомненно чуял и, может быть, даже знал о нем наверное, так как это знание или догадка – только одно и могло заставить его «*постыдиться*», смотреть сквозь пальцы, помня хлеб-соль «*и все такое*». В то же время, принимая во внимание так называемые «*нонешние времена*», невольно представляешь себе, как много развелось теперь таких блюстителей, которые, выпивая в гостинице, где над головой выпивающих «*и все такое*» полгода лежит и гниет убитый человек, которого они «стыдятся» разыскать, наверное не упускают случая высматривать «неблагоденных личностей» и, приметив таковых (а приметы в этом отношении годятся всякие, какие только взбредут в голову), не только не постыдятся, а прямо без разговоров «сгребут» и зато-

чат... Ведь вот «сгреб» же один блюстититель мирного сельского жителя за роман Шпильгагена¹ – сгреб и засадил, не зная и не имея понятия о том, что значат слова: «роман», «Шпильгаген», «Вперед». Сгреб же другой такой-то блюстититель сельского учителя, который сидел на вокзале в провинции, ожидая поезда, и читал брошюру «О дезинфекции» сочинения Нечаева². Что такое «дезинфекция» – это блюстителю знать не полагается. *Тот ли* это Нечаев или другой – тоже можно и не знать. Но мелькнуло ему в голову слово «Нечаев» и – «сгреб»! Везде теперь только и слышишь: «сгреб» да «сгреб», или «чуть не сгреб», или «да и сгреб бы, а то что же?.. И ей-богу бы сгреб»... И все эти сгребанья всегда почти оказываются вполне нелепыми и неосновательными; но нелепости и отсутствие всяких оснований не запрещают «сгребать» и не заставляют стыдиться несправедливой жестокости и безобразия, а осмотреть номера, в которых пропал и убит человек, – «стыдно», потому хлеб-соль и «все такое»...

Но всего замечательнее в этом процессе – это, разумеет-

¹ *Роман Шпильгагена*. – Имеется в виду роман немецкого писателя-реалиста Ф. Шпильгагена (1829–1911) «Все вперед» (1872). Описываемый Успенским полицейский «блюстителю» принял этот роман за нелегальную народническую газету «Вперед», издававшуюся в Лондоне П. Л. Лавровым в 1875–1876 годах.

² *Нечаев*, – Комизм описываемого Успенским эпизода в том, что полицейский принял санитарную брошюру за сочинение анархиста-заговорщика, бакуниста С. Г. Нечаева (1847–1882). Имя последнего приобрело широкую известность благодаря так называемому «нечаевскому делу», которым царское правительство воспользовалось для борьбы с революционным движением.

ся, личность самого убийцы – несчастнейшего Ивана Горюнова. Воистину недаром судьба наделила его таким именем и фамилией. «Господин» «приказал» прибить в номере задвижку. Иван Горюнов взял молоток и исполнил приказание, а утром через несколько часов исполнил этим же молотком другое почти приказание хозяина – убил этого самого господина. За час, за несколько мгновений до убийства, у него и мысли не было об убийстве; сторублевая бумажка ставит его в недоумение: «как же теперь быть?» Ему говорят – как, и он делается убийцей, он бьет молотком господина по голове с таким же точно покорным настроением «слуги», как бы подавал на стол порцию селянки или прибывал задвижку. «Как же тут быть?» – говорит он, и вы видите, что если б ему было сказано, как быть: «возьми да отдай сдачу», – так он бы и не был убийцей и отдал бы сдачу. Зачем он убивает – неизвестно. Деньги он отдал хозяину, а сам получил немного мелочи. Ему когда-то сказали: «Дурак будешь» – и он думал, что не дурак ли он в самом деле. Сам он не знает доподлинно, глупо или умно грабить и убивать, и потому спрашивает у «хозяина»: «Как же теперь быть?» Он, *сам лично*, действительно не имеет понятия о том, что умно, что глупо, кто дурак, кто умен, что хорошо, что дурно. Выслушав его рассказ о том, как барин подарил ему золотые часы и двадцать восемь рублей денег, хозяин говорит ему: «Дурак будешь, если так станешь жить – так помрешь бедняком». И он думает, что он дурак, – думает так, как ему сказано; так, как побуждает

думать его и поступать постороннее влияние, чужое приказание, чужая воля: «прибей задвижку» – прибил, «убей барина» – убил, и одним и тем же молотком, без малейшей тени собственной своей мысли и собственной своей воли. Ведь если б он «сам» мог думать, понимать и соображать, то есть если б он сам имел какой-нибудь взгляд на человеческие отношения, так ведь случай с баринком, который щедро наградил его, должен бы был убедить его как раз в противном тому, что говорил хозяин: за честность и добросовестность он *на деле*, на факте самом реальном, самом ощутительном оказался не только не в дураках, но прямо в умниках. За то, что он не ограбил, не украл, а берег и смотрел, чтобы не обокрали барина, он получил сравнительно огромное вознаграждение – золотые часы и двадцать восемь рублей денег. Кажется, если бы человек мог и имел бы привычку самостоятельно думать о чем-нибудь, этого случая было бы для него весьма достаточно, чтоб убедиться, что хорошие и добросовестные поступки не пропадают бесследно: результат налицо – золотые часы и деньги... Но он не умеет думать сам и потому убивает бескорыстно, без всякой выгоды, отдав деньги хозяину, а сам получает немного «мелочи»...

Вот эти-то черты нравственности Ивана Горюнова и потрясают вас самым угнетающим образом. Как бы внимательно ни всматривались вы в душу этого человека, вы не можете ответить мало-мальски утвердительно ни на один из вопросов, которые должны возникнуть при этом в вашем со-

знании. Жаден ли он? – Нет: деньги отдал хозяину... – Жесток? – Ничуть: он убил не подумавши, не задумываясь, а так, как прибил задвижку, и потом сам же плачет и терзается над трупом втихомолку по ночам... – Скрытен, хитер и злобен? – Опять нет: ведь он «побожился», что не утаил денег, а все сполна отдал хозяину; он – не обманщик... Добровольно, когда мало-мальски проясняется ум, он хочет идти в полицию – объявить, но ему опять говорят: «дурак будешь» – и он не идет. Послушание его примерное. Его награждают за честность; но ему говорят, что бесчестно поступать лучше, – и он верит вопреки фактам, доказывающим противное. Ему говорят: «прибей задвижку» – прибил; «убей» – убил. Затем полгода труп лежит в чулане, лежит до тех пор, пока хозяин не сказал: «Убери!» – и Иван убрал. Словом, Иван Горюнов весь чужой, человек постороннего влияния, чужого приказания, даже чужого желания. *Своего* по части убеждений и нравственности у него ничего нет – хоть шаром покати. Это совершенно пустой сосуд, который может быть наполнен чем угодно. Не попади он в такой темный притон, можете ли вы сказать, что он сделал бы что-нибудь подобное тому, что его принудили сделать? Был ли бы он убийцей, если бы «попал» вместо трактира в столяры, в сапожники, в кучера к хорошему барину, в лавочники, в хлебопеки?.. Наконец, если бы попал даже опять-таки в трактир же, только не в такой вертеп, как «Вологда», а такой, где все честно и благородно?.. Ни на один из этих вопросов вы не можете отвечать утвердительно,

потому что пред вами человек, внутренний мир которого, как траву, как тонкую ветку, колеблют внешние дуновения, дыхание чуждых ему, со стороны идущих, влияний, – человек, который покоряется всему, на что его «бог нанесет», – всему, что волею судеб «набежит» на него...

А ведь таких Иванов Горюновых уже в настоящее время можно считать на Руси сотнями тысяч, а в будущем, если только народная жизнь будет так же, как и до сих пор, оставаться в условиях царствующей и в ней и вне ее неурядицы, – Иванов Горюновых будет тьма, тьмы тем, тьмы тем пролетариата, выброшенного расстройством деревенского быта и духа, готового подчиниться в чуждой ему среде всевозможным влияниям с наивностью ребенка, не имеющего возможности знать и понимать, что в этих влияниях зло, что добро, – словом, пролетариата, который с наивностью ребенка может одним и тем же молотком и одной и тою же рукой прибить задвижку по приказанию «гостя» и разбить тому же гостю голову по чьему-нибудь другому указанию и наставлению.

Отчего же это происходит?

Вероятно не раз, а миллионы и миллионы раз тот же вопрос, только примененный к самому себе и к своей ужасной истории, задавал и задает Иван Горюнов, задавали и задают сотни других Иванов Горюновых. Сидя в слезах и тоске за железной решеткой тюрьмы или на пароходе-клетке, перевозящей арестантов и осужденных в сибирские тюрьмы и

рудники, Иван Горюнов и ему подобные мучительно ломают уже погибшие головы свои над этими вопросами: как, и зачем, и отчего? – и, ничего не понимая, но только ужасаясь и недоумевая, невольно переносятся мыслью в родную деревню и инстинктивно ищут здесь, в ней, в условиях ее современной жизни – корни и основание всему, что случилось потом. Оплакав утраченное спокойствие и целомудренность деревенской жизни, оплакав утраченную возможность жить как люди, работать, играть свадьбу, пить вино на праздниках и т. д. и дорываясь до корня своего огромного горя, своих огромных утрат, вековечных, на всю жизнь, – всякий такой Иван Горюнов непременно найдет в самой глубине, на самом дне своих бед, какую-нибудь деревенскую «случайность», благодаря которой человек должен был оторваться от дома, от деревни и идти в неведомый мир, плыть без кормила и весла... Непременно в корне корней окажется какое-нибудь на наш взгляд ничтожное обстоятельство, от которого и вышло потом все, вплоть до конца, до Сибири и каторги. «Не случись» того-то или того-то в деревне, в хозяйстве – и не надо было бы уходить оттуда и отдавать себя на волю непонятных влияний, непонятных условий жизни. Не случись, что умер отец или брат, не случись, что пала лошадь, не случись, что старшая сестра сломала ногу и пролежала год больная, не случись падежа, неурожая, засухи – и не было бы тысячи случайностей, которые потом захватили человека и стали им вертеть по-своему, как *им* угодно.

Этих случайностей, иногда ничтожных, как пылинки, никогда не тяготело над крестьянской жизнью так много, как теперь. Земледельческий труд, весь, сполна находящийся во власти велений природы, сам по себе уже таит в этих велениях и прихотях природы неисчерпаемый источник случайностей. В успехе или неуспехе этого труда – следовательно, в благосостоянии и нравственном равновесии или в разорении и нравственном падении крестьян играют важную роль не только такие пособники труда, как животные, скот, не только своя личная сила, свое здоровье и т. д., но даже самые ничтожнейшие атмосферные явления – направление и сила ветра (обил хлеб и т. п.), сила и время дождя, засухи и т. д. и т. д. без конца. Все это может осчастливить, все это может и разорить. Все эти случайности необходимо иметь в виду. А их в настоящее время столько развелось, что вся современная жизнь деревни зависит именно от этих случайностей – и стихийных и всяких других, неизвестно почему скопившихся над деревней как нарочно в такое время, когда она не в силах противопоставить ни «кузьке», ни «мгле», ни «красному петуху» ничего, кроме отчаянного вопля и бесцельного бегства «на сторону».

При крепостном праве (нам не для чего заглядывать дальше для того, чтоб сравнить прошлое народа с настоящим) все эти случайности *волей-неволей* должен был устранить барин, если он не был, что называется, живорезом. Он, в видах своей собственной пользы, должен был кормить в неуро-

жай, давать скот во время падежа, помогать свадьбе, покупать жениха – словом, он должен был всячески экономизировать людьми. Негодных к одному труду он ставил на другой, ни к чему негодных сдавал в солдаты, а беспомощного старика ставил к уткам или так кормил на дворе. Это был скотный двор, организованный из людей, но организованный. Возвращения к нему не может быть, но возвратиться к «организации», перейти от полного невнимания к массам к самому искреннему вниманию – необходимо. Все эти случайности, обставляющие крестьянский труд и, следовательно, играющие огромную роль в благосостоянии масс, в настоящее время почти не составляют предмета серьезного внимания со стороны так называемых командующих классов. Страхование скота, как известно, до сих пор только в проекте, да неизвестно еще, будет ли оно удобно для крестьян; по части организованного кредита тоже в высшей степени плохо; земские подачки в неурожайные годы – предмет для хищнических злоупотреблений и плохое подспорье для большинства крестьян. Да, наконец, времени «даром» ушло так много, что теория хищничества уже вошла в моду и в деревне, и теперь уже нельзя поручиться в том, что даже самое благодетельное мероприятие не будет здесь же, в деревне, повернуто так, что окажет выгоду меньшинству и вред огромному большинству. Отпадение от «хозяйственного», крестьянского, чисто земледельческого ядра, составляющего силу деревни и силу крестьянской массы, все уве-

личивается; случайности, никем и ничем не отстраняемые, с одной стороны, выбрасывают за борт общинного корабля ослабевших, опустивших руки, идущих искать где лучше, с другой – эти же случайности возвышают незначительное меньшинство, которое, владея лишнею копейкой, пользуется нуждой ослабевших, дешево покупает скот; пашню и другое имущество и богатеет, но в свою очередь также отпадает от крестьянства трудящегося. Одни уходят потому, что нельзя трудиться, другие – потому, что можно и не трудиться, можно отдавать «из прокату» сеной пресс, получать за прокат деньги, сидеть в трактире и играть на гармонии «Стрелочка»³. Таким образом, от общинного земледельческого ядра, деревни, в одну сторону уходят «по расстройству» Иваны Горюновы и поступают лакеями в трактиры, а в другую – уходят люди вследствие достатка, уходят в те же трактиры, но не в качестве лакеев, а гостей. Эти люди достатка и досуга требуют водки и закуски «и все такое», а Иваны Горюновы подают им и водку и закуску и «услуживают по части всего прочего». Одни учатся – «что приказывать», а другие исполняют приказания: «прибей задвижку» – и прибьет, «убей» – и убьет, и все одним и тем же молотком.

³ «Стрелочек». – По всей вероятности, имеется в виду песня «Стрелок» («Я хочу вам рассказать»), распространенная в лубочных песенниках. См., например, «Народный песенник. Парням на веселье, девкам на утешенье». М., 1878, стр. 33.

Несмотря на имущественную разницу между Иванами Горюновыми, перестающими быть крестьянами, «послугою» по нужде, и другим типом отщепенцев крестьянства, бросающих его и отвыкающих от него вследствие достатка, – в нравственном отношении оба типа не представляют ни малейшей разницы. Оба они, уходя из одного общества в другое, не вносят в него ничего *своего*, а обречены – по крайней мере на долгие годы – подчиняться тому, что бог нанесет на них или что само на них набезит. Оба эти типа, несмотря на разницу состояний по части материальных благ, одинаково нищие, одинаково безнравственны. Слово «безнравственность» не следует понимать исключительно в дурном смысле, в смысле дурной нравственности – вовсе нет; просим понимать его *только* буквально, то есть только как отсутствие какого-нибудь определенного нравственного содержания, каких-нибудь определенных нравственных принципов... Нам могут многое возразить на это, указать на сектантов и т. д.; но мы, очень хорошо зная, что эту «безнравственность» не исчерпываются все свойства народной души, тем не менее не имеем намерения доказывать здесь, что эти «другие» стороны известны нам, так же как и возражателям, – не будем делать этого именно потому, что мы берем специально эти безнравственные, а не какие другие

черты народной души, хотим указать именно на пустые места этой души – места, которые, помимо естественных причин, держащих народную душу в постоянном колебании по части «убеждений», как будто еще умышленно оставляются пустыми, тщательно ограждаются от всякого вторжения в эту пустоту общечеловеческих интересов, идей общего блага и обязанностей к ближнему и к самому себе. «Не отвечать» за свои поступки как лично, так и по отношению к соседу, к ближнему, народную массу учит – и заставляет даже насильно – ее труд, весь подчиненный прихотям природы. «Не отвечать» приучило народ крепостное право, при котором за всякие безобразия, за все хорошее и дурное отвечал, хотя бы только официально, помещик. Теперь, когда это право миновало, надобно отвечать самим... Но вот этой-то ответственности не только никто не требует от народа, но, напротив, все, что командует им, как бы умышленно стремится отучить его от всякой мысли о том, что, кроме ответственности в исправной уплате податей, есть еще другая ответственность – за этого сироту, который может сделаться вором, за эту старуху, за этого старика, за эту случайно ослабшую семью, которая может разориться и пустить по миру кучу нищих. Ни в школе, ни в церкви, ни в других влияющих сферах мы не видим ни малейших попыток, не слышим ни единого слова, которое обратило бы внимание молодого и старого деревенского люда на массу явлений, за которые по привычке не принято отвечать, но за которые отвечать непременно

но следует. Один деревенский мальчик сказал мне: «Сколько раз я видал зиму, и нос отмораживал, и ноги знобил, и в снежки играл, а все не думал, что такое зима... А вот как прочитал стишок сочинения Пушкина про ту же зиму и про тот же снег – и стала мне зима любопытна». Вот такого-то слова, которое бы сделало любопытными тысячи явлений, к которым народ пригляделся, которые он видит каждый день, но о которых не думает, как мальчик не думал о зиме, хотя и отмораживал нос и знобил ноги, – и нет у нас. Как бы выражением общественных забот в старые времена мирской бык, староста, кабак и холодная, так и теперь – то же. А когда к этим быку, старосте, кабаку и холодной прибавится что-нибудь новое, вроде постоянного фельдшера (из своих и для своих), вроде мирской каморки, в которой могли бы доживать свой век старики бездомные, вроде другой каморки, в которой больной, вывихнувший ногу, или больная, обжегшая солнцем на жниве спину, могли найти койку и помощь и т. д., – когда все это будет, неизвестно. Нигде, повторяем, ни в школе, ни в церкви, мы не слышим ни о зле, ни о добре, ни о добром, ни о худом, ни о безнравственном, ни о нравственном... Конечно, этим мертвым молчанием нельзя убить в человеке душу и совесть, и она так или иначе выразит себя в стремлении к свету и правде; но как бы ни были прекрасны эти, никем не поощряемые проявления благородных стремлений души, нельзя не видеть, что покуда к общинным хозяйским распорядкам не будет *прибавлено* права

широко и свободно делать все и думать обо всем, что только может расширить размеры народной впечатлительности по отношению к горю и благу ближнего, – до тех пор деревня будет поставлять из своей среды, подчиненной случаям удачи и неудачи, с каждым годом все большее и большее количество людей с нравственностью Ивана Горюнова – нравственностью, колеблемою, как лист, от малейшего дуновения в ту или другую сторону.

Не знаю, скоро ли интеллигентный человек (то есть человек исключительно интеллигентных целей, а не служащий по найму в интеллигентных должностях) отвоюет для деревни право пещись не о едином хлебе. Это – его обязанность, и другой обязанности нет у русского интеллигентного человека. Конечно, сперва ему необходимо отвоевать это право и для себя... Очевидно, что и то и другое будет не скоро. А пока мы дождемся этого, позволю себе возвратиться к прерванной речи о значении «случая» в современной народной жизни – «случая», против которого не спасает община, при всех своих хозяйственных совершенствах, и который выбрасывает из «крестьянства» массы беспомощных неудачников на волю Божию. Расскажу по этому поводу кое-что из того, что почти сейчас происходило пред моими глазами, но при этом заранее предупреждаю читателей, что рассказанное будет местами производить впечатление неприятное и грубое. Что делать? Действительность куда хуже того, что я расскажу сейчас.

Почти каждый вечер прошлогоднего лета, за рекой, «на той стороне», среди всеобщего мира и тишины, вдруг и неожиданно начинались какие-то крики, брань, ругань и плач. . . Иногда эти крики, этот плач и шум поднимались среди ночи, когда все покоилось мертвым сном, и будили не только мирных обывателей деревни, но и нас, жителей противоположного берега, – так они были громки, столько там было женского визга и мужского рева. Не было ни малейшего сомнения в том, что дело не ограничивалось одними криками, а иногда разыгрывалось и в драку, и что драки эти большею частью пьяные. Очень часто, после того как свалки и крик прекращались на той стороне, на нашу сторону переправлялись через речку и шли по нашему берегу какие-то пьяные, ругавшиеся и грозившие кулаками фигуры – фигуры, весьма плохо владевшие ногами, судя по нетвердой походке, и не менее плохо владевшие языком, судя по несвязности речи, иногда переходившей в простое мычанье. Но как ни бессвязно бывало иногда это бормотанье пьяных гуляк, все-таки, слушая его, можно было понять, что и сами пьяные и их пьяные речи имеют какую-то связь с только что затихшей на той стороне свалкой. Не раз смущали меня эти ночные истории и эти толпы пьяных людей по ночам шатавшиеся около моей дачи. Дача была совершенно одинокая, а народу, как говорят, там, в деревне, «много всякого». Поневоле подумаешь о том, что это за люди, которые чуть не каждый вечер производят драку, с криками и со слезами, и потом по

ночам шляются с какими-то угрозами около дома... Не раз я спрашивал у крестьян «с той стороны», случайно сталкиваясь с ними, когда они иной раз перебирались на нашу сторону за сеном или за дровами, так как ихние луга и лес были на нашей стороне, но никто из них не дал мне определенного ответа: «Пьянствуют, поди. Ведь ноне воля – свободно стало!» – «Ведь ноне нешто мало безобразиев-то?» – «Нам, батюшка, недосуг за этим глядеть – нам впору с своей работой управиться, а не то чтобы на каких подлецов смотреть. Ноне всякого есть, и хорошего и худого, сколько угодно... Кто такой шумит? – А господь их ведает. Так, должно быть, какие-нибудь пьяницы...» и т. д. А шум и драки на той стороне продолжали повторяться, как и прежде, через день, через два. По праздникам и по воскресным дням они бывали уж непременно.

Заходит однажды ко мне волостной старшина, с которым я познакомился уже давно, просится посидеть – «подождать одного человечка». Человечек должен проходить как раз мимо моей дачи, так вот старшина и сел к окошку, которое выходит на дорогу.

– Что это за драки на той стороне? – спросил я его.

– Как драки?

– Через день, через два уж непременно и шум, и драки, и крик на той стороне.

– О, да, да... Уж давно я думал вывести, искоренить это гнездо, да все недосуг. Проститутки живут – ну, и пьян-

СТВО...

– А драки-то?

– Да уж одно без другого не ходит... Что и за гулянье без драки...

– Да какие же тут у вас проститутки?

– Очень просто – гулящие...

– Каким же образом завелись они тут?

– Завелись-то они в прежнее время... Началось это, видите ли... стоял полк поблизости. Вот откуда пошло направление это самое... Да и посеичас невдалеке войска стоят и солдаты шляются... Началось-то с войсков – ну, а потом и пошло, и свои пошли баловаться... Ведь ноне народ распустивши, не дай бог... Хлопот-то, ежели бы знали, сколько, не приведи господи! Как есть с этой должностью всего хозяйства решишься. Вот хоть бы сейчас: шлялись к этим проституткам солдаты, а потом и стали в лазарет поступать... Теперича вот предписано мне всех этих шкур представлять каждый вторник к доктору – нарочно земский доктор приезжает. Четверых я уж сегодня представлял – отпустили; а вот пятую – она-то, должно быть, и корень всему – вот и дожидаюсь теперича... Доктор там сердится, а я сиди вот, гляди... А свое дело стоит.

– Так вы эту «пятую» дожидаетесь?

– То-то и есть... Доктор сердится, а где я ее возьму? Она вон на покос ушла – жди ее!

– Так она и на покос ходит и проститутка?

– Да ведь надо жрать-то что-нибудь? Теперь поденно, на хозяйских харчах, бабе тридцать копеек даем в сутки – как же не идтить-то? А гулянкой ведь не проживёшь. Видите, каковы гулянки-то: рубль пропьют да на три целковых ребер поломают... Каждый вечер сами слышите, как плачут гулянки-то... Ведь иной пьяный саврас как разойдется-то, кулачище-то рассучит... Да с этих гулянок и не прожить; нонича хлеб дорогой, а ведь надо каждый день что-нибудь покушать... Водкой-то, пожалуй, напоят да кулаками накормят – с этого сыт не будешь, так как же ей на косовицу-то не идтить? Я думаю, она горячего-то не ест по целым зимам, а тут каждый день как-никак – похлебка...

– Как же это так? Кто же они такие?

– Как сказать?.. Бедность!.. Вот теперича – которую я жду женщину – отца у нее нет, и матери нет, а брат в Питере... Тоже, сказывают, пьянствует – за паспорт деньги не присылает. Хочу вытребовать, уж и бумагу послал... Вот и живет... Как одной-то справиться в расстройстве? Вот и идет в грех... А по нонешнему времени много охотников-то: и солдаты есть и свои, сенники, приказчики – разного народу много... А вот никак и мои красавицы!..

В самом деле по дороге, направляясь к перевозу через речку, шла толпа крестьянских женщин, босиком, с граблями на плечах, в подоткнутых платышках и в одних повойниках, с голыми, черными от солнечного загара шеями. Старшина взялся за шапку, распрощался и торопливо вышел на

дорогу. Из окна я видел, как он помахал бабам рукой, приглашая остановиться, — как вошел в толпу, говорил что-то и как потом одна из женщин, передав грабли соседке, вышла из толпы и отошла с старшиной в сторону... Бабы постояли еще с минуту, столпившись кучей, но потом опять выстроились в шеренгу и пошли своею дорогой к перевозу. Старшина и несчастная проститутка остались одни на дороге и разговаривали. Высокая, сгорбленная, нищенски одетая и уже не совсем молодая на вид баба, потупившись, слушала то, что ей говорил старшина. Раза два она пробовала что-то ответить ему, крестясь и ударяя рукою в грудь, но голоса не было у нее. Видно было, что она с огромными усилиями старается сделать свою речь звучной, но не выходит ничего кроме хрипоты. Но вот она взялась за фартук, заплакала, подняла фартук к глазам и поплелась вслед за старшиной. Старшина, в новом черном картузике, в опрятненьком пиджачке, надетом сверх красной русской рубахи, выпущенной из-под жилета, и в новеньких блестящих сапогах с бураками, шел, пожимая плечами и разводя руками, впереди, а баба, поминутно утиравшая фартуком то нос, то рот, то глаза, шла за ним. Они шли в волостное правление, которое помещалось в деревне на нашей стороне и куда заезжал по-временам деревенский врач.

Тяжелое впечатление этой сцены, горькая участь этой несчастной деревенской проститутки (да, читатель, у нас *уже* есть деревенская проституция!), которой нечего есть,

которая по целым зимам не ест ничего горячего, которую поят водкой и бьют и которая в то же время охотно работает обыкновенную крестьянскую работу, находя очень выгодным получать тридцать копеек в сутки и похлебку, – все это было новой прибавкой к той массе впечатлений «ненужного зла» – зла, которое может не быть у нас, но которое, однако, плодится и множится вопреки всякому смыслу человеческому, которого так много дает расстроенная деревня каждый день и каждый час. Что делать с впечатлениями такого рода? Обыкновенно они не то чтобы забываются, а как-то изнывают в душе, прибавив к постоянному ощущению какой-то душевной тяготы, испытываемой в деревне при виде, повторяю, явлений «ненужного» зла, еще новую тяжесть. Но на этот раз новое тяжелое впечатление не имело обычного результата – ему суждено было осложниться новыми, не менее тяжелыми подробностями. Во-первых, в этот же день, часа через два после того, как старшина увел бабу в волость, мне опять пришлось встретиться с ним.

Я сидел у ворот дачи, когда он возвращался из волости.

– Ну что? – спросил я его как-то машинально.

– Посадил! – отвечал он, пожав плечами и поздоровавшись.

– Кого посадил?

– Да эту самую проститутку-то!.. Посадил в холодную.

– За что же?

– Да куда я ее дену? Доктор ждал, ждал – не дождался,

обещался приехать после, а пока что оставил записку – «надзирать»... А как я буду надзирать за ней? Не караульщика же в самом деле нанимать мне... На какие деньги?.. Ну и распорядился запереть в темную... Накормить – накормят... А ведь так-то пустить на волю – она вон совсем уж голоса лишилась – так ее пустить нельзя.

– Почему же в холодную?

– Да куда же-с? Ведь нету... Ведь у нас ничего этого нету... Больница за пятьдесят верст... Ведь нету этого ничего... У нас холодная за все – и клиника и тюрьма, и исправляем, и отрезвляем, и внушаем – всё в одном месте. Запер в холодную – и все! Кабы какие прочие способы были или что-нибудь по-христиански, а то ведь нету. Холодная – это есть, – ну, и сажаем... Даже странники, которые, бывает, ко святым местам идут, ночевать просят – и тех, бывало, в холодную на ночлег запираем, потому народ набаловавши, распустивши... Иной странник попросится ночевать, да и обмолебствует что-нибудь из сундука...

Старшина помолчал, отер платком лоб и проговорил:

– Конечно, воеет, сидит... Я и сам понимаю, что за удовольствие за железной решеткой сидеть, да ведь, матушка моя, ничего не поделаешь... Ведь этакую болезнь в народе разводить – тоже не хвалят за это... Я уж и так отвечаю, отвечаю, уж и отвечать-то устал...

Прибавив своим рассказом к тяжелому впечатлению дня еще новую тяжелую и неприветливую черту, старшина ушел.

Но этим дело не кончилось, и на другой же день последовало новое дополнение.

– Петр Петрович вас спрашивает, – сказали мне утром следующего дня.

Петр Петрович был все тот же старшина.

– Где он?

– Он на лошади, в телеге...

Я вышел на дорогу. Петр Петрович сидел, а внизу, в ногах у него, на мешке, сидела девочка лет четырех и во всю мочь заливалась горячими слезами. Вся она была в грязи, в одном ситцевом платьишке, которое заменяло и рубашку; ноги были босые, грязные, а голова простоволосая.

– Что мне вот с этой девочкой делать? Матку-то сегодня в лазарет отправили, а вот дочка осталась.

– Это той, про которую вы вчера рассказывали?

– Вот этой самой дочь... Мать-то, должно быть, не сказала доктору – думала, отпустит, – он уехал, приказав отвезть ее в лазарет, а про девочку ничего не сказано... Отдать к матери – ну-ко и девочка захворает? Так что бы чего – на ней неприметно, ничего худого... Оставить здесь – никто не берет, боятся. И в самом деле, может и девочка больна... Куда я с ней денусь?

Дня через два-три девочку эту удалось пристроить у одной вдовы; но теперь, в эту минуту, про которую я рассказываю, положение ее было самое трогательное.

– Взять?.. Но, может быть, она больна?.. Не взять, так куда

же она денется?

К телеге подошло еще несколько человек, два мужика и баба. Все мы стояли и думали, но ничего не могли придумать.

– Ну куда я ее дену? – спрашивал старшина. – Да не кричи ты! Чего горло-то пялишь?.. Не пропадет твоя мамка..

– Больная ежели, не возьмут! – говорила баба, и мужики подтверждали.

«Холодная» и тут рисовалась как единственное нейтральное спасительное место, но оставить девочку в холодной было невозможно.

– Н-нет! – подумавши и покачав головой, проговорил один из зрителей и пошел прочь.

– Кабы знать, что здорова, а то нет! – сказала баба и тоже ушла.

– Если бы здорова... – сказал я.

– Ах ты, господи! – произнес старшина и после некоторого молчания и раздумья сказал кучеру: – Н-ну, делать нечего, трогай!..

– Куда ехать-то?

– Трогай, я тебе говорю!.. Поезжай прямо.

– Куда прямо? Ехать, так надо к месту.

– Да и без тебя знаю, что к месту. Не в лес поедем... Садись на передок-то!..

– Мне сесть-то недолго... А ехать-то куда? Мне тоже лошадь-то самому нужна.

– Ну не разговаривай, потрогивай!.. Знаем, куда ехать.

Говоря: «знаем, куда ехать», старшина, однако, не отдавал какого-либо определенного приказа; он поправлялся на сиденье, усаживался поудобнее, но видимо недоумевал, куда направить путь. Но вдруг его осенила мысль, он уселся и крикнул:

– Пошел назад! Поворачивай за реку!.. Не знаю, куда ехать... Авось найдем. Потрогивай-ка, а не разговаривай!

– Куда ж вы? – спросил я.

– А к старосте. Сдам ее – вот и все. Общество, так и отечай за своих.

– А как и там никто не возьмет?

– А мне какое дело! Что я – нянька, что ли? У меня двое суток ушло, а мне каждый день пятнадцать целковых убытку... Поворачивай-ка с господом...

– А как не возьмет староста-то? – повторил я еще раз, когда телега стала поворачивать от дома на дорогу.

– А в холодную не хочешь? – обернувшись назад, ответил старшина и раскланялся.

Телега поехала назад, за реку, и девочка снова залилась горячими слезами.

* * *

Дня через два, через три, как я уже говорил, кое-как удалось устроить эту девочку у одной престарелой вдовы – это

я знал наверное, – но что с нею, куда она девалась и где ее мать, до сих пор ничего не известно. Не раз встречаясь после того, как девочка была устроена, со старшиной, я спрашивал его и о девочке и о матери, но он ничего не знал. «Слава тебе господи, хоть с рук сбыл! – Ведь, ей-богу, и без этого хлопот не оберешься». Но зато неожиданный случай дал мне возможность узнать всю историю расстройства этой семьи, из которой вышли эта гулящая, избитая и больная мать, отправленная в лазарет, эта девочка, которая неизвестно где находится, и брат ее матери, про которого старшина сказал, что он пьянствует в Петербурге и не высылает денег на паспорт. Читатель помнит, что старшина не хотел высылать ему паспорта и что, следовательно, он волей-неволей должен был воротиться в деревню.

И он действительно воротился.

Несколько раз говорил я знакомым мужикам, чтоб они прислали кого-нибудь выкосить двор и сад при даче – они за лето сильно заросли травой, – и всякий раз мне говорили: «хорошо, ладно, придем или пришлем»; но так как пора работы была горячая, то отрываться от нее для такого ничтожного дела, как косьба сада, было не из чего. «Успеется». Но вот однажды в ворота дачи вошел человек, неся на плече ко-су; повидимому, это был представитель той деревенской го-ли, которой так много теперь возвращается из столиц в де-ревни, с пьяными синяками по всему лицу, без копейки и иногда буквально без одежды, если не считать рубахи и шта-

нов за единственную одежду, прикрывающую от непогоды. Роста он был высокого, в кости широк, но худ и вял, хоть и молод. При первом же взгляде на его лицо, носившее следы пьянства и болезни, нетрудно было видеть, что он только что продолжительно хворал. Голос, лазаретный цвет лица, голова, обстриженная под гребенку и местами совершенно облезлая, и какие-то розовые язвы, как бы чуть-чуть затянутые кожей, говорили, что он был болен крепко и притом нехорошо... (Я предупреждал читателей насчет непривлекательных подробностей и еще раз предупреждаю.) Сняв рыжий рваный куртуз и обнажив больную голову, он сказал, что прослышал насчет косьбы, и просил ему дать эту работу. «Что пожалуешь... – сказал он относительно цены. – Какая это работа!.. Нешто такие работы работывали?.. Теперь и косы-то вот нет». Коса была со сломанною ручкой, и лезвие ее, почерневшее от сырой травы, было тонко и глубоко выедено бруском: видно, что коса много послужила на своем веку.

Стал он косить. Косил плохо, хоть и с жаром принялся за работу: видно было, что он разучился, если и умел, и что недавняя болезнь ослабила его силы. С двух-трех взмахов покраснел, вспотел и уж вытирал лоб. И все время он говорил, что «так ли кашивали!.. Первый косак был... А теперь и косу-то занял у людей, и то насилу-насилу дали – хоть помирай». Разговорились мы, и скоро оказалось, что это тот самый Михайло, пьяница петербургский, про которого говорил старшина и сестру которого увезли в лазарет. Эта куча

больных, и битых, и пьяных людей – без кола, без двора и без хлеба – невольно заставила меня подробнее расспросить о причине расстройтва их семейства, и вот что об этом рассказал мне Михаиле.

–.. Дак вспомнишь, как в прежнее-то время жили, – верите ли, сердце кровью обольется... Теперича, говорю, вот и коса чужая, и на себе ничего нету, и сестра эва в каком месте находится – срамота, не глядел бы на белый свет... И не знаю, за что и взяться и с чего начинать... Взяться-то не с чего – синя пороха нет – а все было, все было хорошо, исправно... И давно ли? Почитай есть ли годов пяток, много-много лет шесть, как людьми жили, семейством, а теперь вот... (Рассказчик утер слезу.) Конечно, маменька покойница рано померла, а всё жили ладно; отец-родитель – царство ему небесное! – крепкий был человек, неустанный работник, и в ту пору, как беде-то случиться, было у нас земли на три души. Первый работник – родитель, второй я – мне уж тогда под двадцать годов подошло, а третья – сестра, вот которая теперича занапрасно пропадает... В ту пору была она девка славная, годов под семнадцать. И что дальше, то все бы лучше должно выходить: первое – сестру замуж, хотели работника в дом взять, потому тятенька наш добреющий был человек, душевный, жалостливый. Любил он нас, родитель наш милостивый, от сердца любил. «Не отдам, говорит, Марфутку в чужие люди, найду ей жениха – пусть на моих глазах живут»; да и мне пора уж была в закон вступать... И была

бы у нас семья полная, в полном виде. Такая семья выходила, первый сорт – всё молодые, а большак – добрый и ласковый... И непременно бы так и было, и в ту же осень все бы так и исполнилось, потому урожай страшный был в тот год. Страсть, что был за урожай – старики не запомнят такого года благословенного. Все выходило по-хорошему, по-приятному – ан и случилось неведомо что... Ох, господи помилуй, господи помилуй!.. Подумаешь, подумаешь... Я вот теперь плелся из Питера-то, Христовым именем побирался, и чего-чего ни передумал, чего-чего ни намучился, вепоминаючи-то... И думается так: коли бы ежели в тот год не случилась весна ранняя, так и не было бы ничего этого, и все бы было по-хорошему, и тятенька был бы жив-живехонек, и Марфутка бы в законе жила, да и я бы был вполне как должно человеку быть, а не ежели подобным как есть подлецом... То-то ведь господь-то... Премудры его веления.

«И случилась в тот год, говорю я вам, ранняя весна. Никогда старики такой ранней весны не видывали. Зиму почитай что и снегу не было – все тепло и туман... А ежели и снежок выпадал, так сейчас и дождь. И стала весна вполне в такую пору, когда в прочие времена еще сугробы снега лежат и метели крутят по дорогам... Старики долго остерегались ее, этой весны-то, – думали, не ударят ли морозы, – ан нет, тепло и травка... Погодили, погодили и принялись за работу... И отработали мы весенние дела почитай что недели за две раньше, чем в прочие-то годы... Отработали мы так-то,

глядь – и весь порядок у нас сдвинулся набок, и вышло у нас так, что перед Петровым днем вылупились две лишних недели... Что по весенним работам следовало, то уж пошабашили; а что надо было насчет летних – то рано. И межупары прошли, а всё две недели пустого места остается; всё переделали – какие мелочи, починки, а все много время... Чисто вот как трещина какая вышла!.. Хоть что хошь, а нету никакой работы... И направо работа была, и налево взять работа будет, а посередке – ровно дыра какая... Уж мы в это время и песни играли, и так лежишь – спишь, сколько влезет, и опять за песни – все некуда девать. До того дошло дело, что уж старые старики, почтенные, и те не знают, как распорядиться, даже в ладыжки – побожиться, не вру – игрывали... Ведь даже смеху достойно было смотреть, как прародители-то эти соберутся... «Ну-ко, говорят, кости-то поразмять...» И в рюхи игрывали. Иной старик на одной ноге с дубиной скачет, точно ребенок малый, – вспомнить, так сейчас смех разбирает.

«Вот раз так-то вечерком и разыгрались – и старики и молодые, и девки и бабы, и малые ребята... Веселое время было, у всех на сердце было весело, потому урожай господь давал небывалый... А уж как хлеба много будет, так мужик прямо от веселья пьян... Разыгрались до того, что даже староста обмотался весь холстами да взмостил на ходули и стал народ пугать... А мы, молодые, кто как – кто колесом, кто как обдумал... Вот и я тут же. А я в ту пору, хоть было

мне под двадцать годов, как вспомню, так был подобен малому ребенку. Ничего я тогда этого не знал – ни водки, ни трактиров... Играл так, как ребята играют... Всем весело, а мне пуще всех!.. И была у меня в руках дубина... Перво-наперво «в рюхи» играл, дубиной бросал, а потом и так стал махать зря, старосту с ходуль этой дубиной снес, только всех насмешил... А надо вам сказать вот что: пришлось мне везти на станцию какого-то приказчика, и дал мне тот приказчик двадцать копеек на чай: «поди, говорит, выпей чаю». Вот я и был снова в трактире. Пил я чай и все глядел, как на билиарте играют... Я уж после узнал, что это билиарт называется, а тогда я только смотрел, что за игра такая, и слушал, что говорят. Вот и запомнил я три слова: «Дуплетом – в угол – мимо!» Вот как разыгрались мы по деревне, я и упомянул эти слова-то; и в рюхи играл, а все повторял их; и как с палкой гулять стал, тоже всё они на язык лезут. Тятенька покойник – веселый, помню, сидел на завалинке – говорит: «что бормочешь?» А я не знаю, что эти слова и значат... Размахнулся дубиной, пустил ее в рюху или в собаку, а язык сам прибавил: «Дуплетом – в угол – мимо!» Играл, играли так-то, уж и темнеть начинало – уж не один староста, а человек пять на ходулях по селу пошли девок и баб пугать – стали медведями наряжаться, а я все во всех местах с своей дубиной и все: «Дуплетом – в угол – мимо...» Вдруг как шарахнет на меня из-за плетня мужик, прямо под ноги, на четвереньках, овчиной вверх оделся, заревел, я и не поостерегся

да глубиной-то, значит «дуплетом – в угол – мимо», как резну с разбегу-то, глядь – медведь-то и растянулся... Застонал, распластался весь... Так я и ахнул... Ведь отца родного... Батюшки мои, батюшки мои миленькие!.. (Рассказчик плакал в три ручья и косил.) Он, родимый мой, сидел, сидел на завалинке-то, любовался баловством нашим, потом (сестра сказывала) «погоди, говорит, я их пугану...» Пошел, надел овчину, да на четвереньках и сунулся в народ, замычал по-медвежьи... Тут-то я его и...

«Уж тут-то я рыдал, тут-то я тятеньку моего родного, батюшку, целовал-обнимал, тут-то я убивался! Кажется, все нутро у меня как печь раскаленная от горя, от тоски... А уж кончено, ничего не поделаешь... Аминь!.. Как что было, ничего не помню: как хоронили, как меня мыкали-судили, как в темной сидел, как в суде был, что говорил – все равно как во сне это для меня было... Окончилось дело – на год на покаяние в монастырь. Покуда суд да всякая волочба шли, так еще все я опамятоваться не мог, все как сонный... А как определили меня в монастырь – в лесу он стоял, тихо там, народу нету, праздники осенние, – как остался я тут, и стал думать, стал соображаться, как быть, что делать... Стал думать-то, а делать уж нечего – уж все пошло прахом, все повалилось... Заместо того чтоб об осени две свадьбы играть да на две души силы прибавить – ежели бы то есть сестрин муж и моя жена прибавились, – пришлось дому остаться совсем без народу: меня нету, родителя нету, осталась одна сестра...

Пришло бедняге так, что продала на корню весь хлеб, подати еле-еле отдала, две души в общество сдала и уж кое-как выплакала земельки на одну-то душу – думает, ворочусь я все как-нибудь... Какая была скотина лишняя – продала, наняла работника, посеялась и перебивается зиму-то с хлеба на квас... А зима опять без снегу стояла, и опять весна ранняя, да тут уж не так, как в прошлый год. Вся деревня с весны тосковать стала, потому в позапрошлую зиму хоть и не было снегу, да места у нас и так мокры, тепло-то и взялось за эту сырь да за лето-то всю ее и вытянуло из земли-то. Урожай был точно на диво... Ну, а уж на другой-то год, без снегу-то, уж трудно земле-то стало. А весна-то пришла жаркая, сухая; стало палить-нажаривать с самых первых дён; выдернуло колос сразу, а потом и стало его жечь. Земля стала белая, и что дальше, то крепче... Молились, молебны служили, а не дал бог дождя; сделалась земля как камень крепкая. Тут уж не до гулянки. Не то чтобы песни петь, а, рассказывают, принялись бабы выть, да обмирать, да за обедней выкликать зачали... Пошли слухи про светопреставление, про антихристово пришествие... Затосковал народ... А солнце палит, как печка раскаленная. Прижгло все начисто. Еле-еле на две недели травы собрали, семян только-только на посев, да и то у исправных, богатых, а уж наш дом совсем развалился. Осталась сестра без всего... Какие были деньжонки или скотина – все разошлось в год-то по мелочи... Одному мне сколько, сердечная, передавала! Все надо! и по судам и в монастыре –

письмо написать, сторожу дать, караульного поблагодарить, когда булочку купить, из одежды тоже нуждался... Всё по мелочи, по мелочи, а всё не в дом, всё из дому... А в монастыре братия тоже не ласкова, коли не угостишь... Тут я с тоски по разоренью и сам стал рюмочки придерживаться, а до этого капли не брал... Исхудал я тут, истосковался, измучился – не знаю, что и будет... Отбыл свой термин, пошел в деревню... Ничего нет! И последней души удержать не могу – сдал. Тут вступил Ермолаевский полк (должно быть, Ингерманландский), в десяти верстах стал. Стала сестра ходить туда стирку брать... А я и не знаю, за что взяться. Стали у нас на деревне ребята собираться в Питер на поденщину – ну, подумал-подумал и ушел с ними... Авось, думаю, счастье бог даст... И что же ведь? Послал господь, да дурак я был – не умел я понимать... Вот наше горе мужицкое – обломы, неотесы!.. А ведь какая штука-то навернулась, сказать ли тебе?..»

Рассказчик помолчал, заинтересовывая меня и этим молчанием и загадочно-развеселившимся лицом.

– В любовники прямо, с одного маху влетел, почитай что только нос показал в Питер-то!.. Да ведь, брат ты мой, порция-то какая попалась! Своих, чистых денег скоплено было у ей, у этой самой Аграфены, под пять сот рублей да два сундука всякого добра нажито, пудов по двенадцати в сундуке! Ведь вот какая штучка подвернулась! Мне бы – ежели бы, то есть, имел я человеческий ум – мне бы самому надобно бы ее на брак склонять. Я бы сам должен был вовлекать ее

в эфто дело да на пять-то сот в своей же деревне кабак либо лавочку открыть, и были бы все сыты, и все бы было честно, благородно. То-то ума-то нет!.. Наместо того за всю ейную любовь только и было моих мыслей, как бы ей хуже сделать, чтобы ей было как поскверней. Вот какая дубина!.. Потому что не понимал я этих любовных поступков; представилось мне все это как подлость одна... Неотес!..

«Перво-наперво недели с две, как в Питер-то пришли мы, шлялся я без всякого пропитания... Еле-еле три копейки на ночлег выпросишь христа-ради... Думал, подохну где-нибудь, как собака... А тут иду одна по Пескам, по Восьмой улице, – сидит у ворот старичок-дворник... Иду и сам не знаю куда. Увидал старичка, говорю: «Нет ли какой работы?» Сначала-то говорил – нету, а потом поразговорился, порасспросил – «постой, говорит, я к барыне пойду»... Пошел и вскорости воротился. «Хочешь, говорит, три рубля – оставайся!» Я и остался в подручные ему. Домик был не велик, деревянный, шесть квартир, во флигеле еще три махонькие... Вот я и стал ворочать и воду, и дрова, и сор... Рад, что хошь ши-то ешь каждый божий день. Вот в эфто время и увидел я Аграфену. Принес я в первый раз дрова в хозяйскую кучню, вижу – женщина, одета по-хорошему, ростом коротковата, волосом черная, а годов ей на вид уж за тридцать, однако не похожа на старуху. Увидела она меня, и остановилась, и смотрит – я дрова складываю, а она смотрит; потом вздохнула и пошла, а потом опять пришла.

Она мне потом сама сказывала: «Ты, говорит, сразу мне понравился. Я, говорит, как увидела тебя, так в ту же пору о тебе затосковала...» А меня – я по совести говорю – ежели бы с неделю покормить в ту пору хорошо, так я бы после голодовки-то ловко выправился... Вот Аграфена-то и поняла это. Пришел я на другое утро с дровами, опять она в кухне. «Ты, говорит, устал, вот тебе кофейник, пей кофий с черным хлебом». Выпил я тут стаканов с десяток – до того, что уж один кипяток в стакан наливаю, а Аграфена только ухмыляется, головой качает. С тех пор стала она меня в свою комнату звать кофий пить. Приду, сложу дрова или воду вылью в кадку – «иди кофей пить». Заведет меня под лестницу, принесет булок, калачей – ешь! Я пью, ем, а она на свою горькую участь жалуется. «Всю жизнь, говорит, свету не видала. Сирота круглая. С малых дён жила в казенном приюте, кормили плохо, строгости большие, всё божественному учили, чтобы потом в прислуги в хорошие дома отдавать... Взяли, говорит, потом в прислуги, прожила я в хорошем доме двадцать лет – ни дня, ни ночи не видала покою. Барыня была старуха божественная, поедом ела. Сколько, говорит, женихов сваталось – всех прогнала барыня-то. Жениха прогонит, а мне пригрозит: в аттестате напишу!.. А не то, говорит, иди: ни жалованья, ни одежды не дам. Так и жила как в тюрьме». Померла эта божественная-то барыня, поступила Аграфена к другой – к той самой, у которой дом и где я место получил. Жила она здесь свободно, барыня была вдова, все плакала

по мужчинам – всё они ее обманывали... И Аграфена также все о мужчинах тосковала, что дожила она до каких лет, а никакого удовольствия не видала. Вот они обе и сошлись – и барыня и ключница. И у куфарки был любовник – музыкант полковой. Так у них у всех и было согласно все по любовной части. Одни женщины да любовники, только Аграфена все разыскивала себе по сердцу. А тут и нанеси меня нелегкая... Вот и стала она меня кофием поить. да про горькую участь свою рассказывать... Я пью-ем, а она говорит-говорит, каким хорошим женихам отказала, как свету не видала, да и заплачет. Я поем, попью и – уйду. А стал я шибко разъедаться с этих кофиев. Стала Аграфена меня даже котлетами кормить с барыниного стола и между прочим плачет и говорит: «И кто бы меня успокоил!..» Я поем и – пойду. Проходит время, стала Аграфена так говорить: «Миша, неужто ты меня не успокоишь? Разве ты не понимаешь, что я тебя кофием пою и прочие предлагаю закуски не зря?.. Ведь зрято, говорит, я и собакам могу выкинуть». А я, ей-богу, перед богом сказать, в толк не возьму, чем я ее успокою?.. Три рубля жалованья всего-то на месяц – из чего тут угощать? «Нечем, говорю, мне тебя успокоить». Что день, то она все явственнее стала доказывать, а я все ответа ей не даю, потому порядков не знаю... День за день, день за день, наконец, того, однажды плакала-плакала она, покуда я пил-ел, потом видит, что от меня нету ей никакого смысла, отерла глаза платком и говорит проворно таково: «Ну, говорит, коли ты

до сих пор ни в чем не имеешь понятия и слов моих не слушаешь, так должна же я как-нибудь сама присодействовать. Ступай, одевайся и жди меня за воротами». Допил я кофий, пошел, оделся и вышел за ворота. Спустя время выходит и Аграфена. «Иди, говорит, за мной». Ну я и пошел. Она все по переду идет... Шли, шли и пришли в Большую Мещанскую... Есть там гостиница «Ломбардия», потому она как раз напротив ломбарту помещается. Аграфена все вперед, а я все за ней... Так нешто я понимал что? Ведь никто ей не велел – сама догадалась...

«Н-ну, после этого случаю и стала она меня подвергать к себе – что ни день, то крепче – что ни день, то все строже... Первым делом подвела под барыню мину – старого дворника-старичка вон согнала с места. Двадцать лет он жил – и вдруг его выкинули. Даже заплакал пошел... Куфарка было вступилась за старичка, да Аграфена подвела торпеду – и ее вон, и с любовником, всех прочь... Меня в дворницкую. Подручного мальчишку из дворницкой – вон: спи, где хочешь, хоть помирай... Дворницкую вымыла, прибрала, выклеила; мне – поддевку, сапоги, жилетку, часы – всё за первый сорт... Ну, а чтобы куда-нибудь отлучиться или что-нибудь – уж извини! Так и смотрит из кувши на двор, точно ястреб... Чуть мало-мало замешкал с дровами где-нибудь в квартире – зовет на весь двор: «Михайла, Михайла! Где мой Михайла?» Цельный день по всему дому только и слышно: «мой Михайла, мой Михайла, мой Михайла, и мой, и мой,

и мой, и мой...» Чистая срамота! А у неё даже ни капли совести нету... Куфарок всех костит нехорошими словами во всю пасть; по всем кабакам по Восьмой улице обегала, чтоб мне водки не давать: «если будете моему Михайле водки давать – я вас всех в каторжные работы отдам, денег не пожалею». Иной раз где-нибудь с каким человеком или с квартирантом поговоришь, хватъ – уж она все портерные облетала, во всех лавках побывала: «не видали ли моего Михайлу?» И все ко мне в дворницкую; как урвется минутка – тут! А нет меня, опять: «Михайла, Михайла!» или: «Иди, иди, иди!.. Домой, домой, домой...» То есть загоняет меня, как скотину хворостиной – и с того боку и с другого, а уж вгонит в дворницкую или к себе в куфню... Народ-то стал смеяться. Куфарки стали подражать – тоже принялись из кухонь в фортки кричать: «Михайла, Михайла! иди ко мне ночевать!» А это ее пуще мутит... Однаво лавочник в шутку ей сказал: «Твой Михайло вон к той куфарке пошел» – так, в шутку, – так она, ни слова не молвя, прямо ему в виски впилась, еле отняли. Потом отдала у мирового пятнадцать целковых штрафа. «Только посмей кто, все рыло оборву!..» Ведь вот что за характерная женщина!..

«И стала она, братец ты мой, противна мне. Кажется действительно, что надо бы мне ей уважение делать за все ее угождения: подручного на свой счет наняла, а меня уж прямо в куфню перевела, чтоб я ничего не делал, – а нет, мутит меня и вся тут... И народ смеется – говорят: «нанялся

в любовники!..» И воли-то нету, да и грех... Она было сама мне насчет брака – «примем закон!» «Нет, думаю, сравнить ли экую шкуру с нашей деревенской!» А пуще всего стала она меня сердить сестрой... Я было ей сказал: «Надо сестре денег послать – чай, она там пропадает с голоду». Ни копейки не дала. «Я, говорит, всю жизнь мучилась да деньги свои буду давать. Мне самой хочется иметь отдых». Так и не дала... Раз я погрозил: «Уйду, найду себе другое место» – так, как чорт, осатанела: «Всю одежду отберу, жалованья не отдам, барыню упрошу, и в пачпорте напишут так, что никто не возьмет». Конечно, со зла болтала, а случись, и, ей-богу, бы сделала. А без одежды куда я пойду?.. Скреплюсь, молчу, а дюже, дюже она мне противна... А тут случилось – пришло письмо из деревни: пишут, сестра родила, гулять пошла... Вспомнил я нашу деревню, сестру, все наше горе и разоренье – и так меня засосало с этого дня, и так мне показалась горька моя кабала... Стал я пить, а Аграфену колотить... Раздумаешься, затоскуешь – и прямо в кабак... Как Аграфена показалась – а уж она сейчас мчится, – так кулаки сами и зачнут сучить... И больно ей доставалось... Долго я крепился, покорялся ей, а как сорвался да как пошел на отчаянность, так что дальше, то чаще. Придешь пьяный, разорешься, раздерешься, нашкандалишь – барыня сама выйдет: «Сейчас убирайся со двора долой!» И сейчас Аграфена меня выручит. Спрячет, уложит, упросит, а сама перед барыней – и на пяточках и на носочках, и лапочками и бочками, и

словами и глазами, и так и эдак, и вползет и выползет – хватъ и выпутала. Придет, говорит: «оставайся» – и все целует да плачет... После этого я недели с две погожу, покреплюсь, – потому куда я в самом деле денусь? После сестриногo горя и в деревню-то страм показаться... А потом опять сделаю скандал, барыня опять: «чтоб сейчас твоего духу не было», – а Аграфена опять заюлит, зазмеит, замутит перед барыней, забормочет, замерячит, вплетет и выплетет – глядишь, и выюлила и вызмеила... Опять бежит: «оставайся!»

«Долго всего рассказывать... Только сколь она меня ни выправляла, а все я хуже и хуже стал забаловывать. Стала она мне все противней... Как вспомню деревню, баб наших умниц, работниц, сестру мою горькую – убил бы Аграфену смаху... Стал я от ней бегать по два, по три дня. Стал вещи пропивать да принялся шляться по нехорошим местам... Долго ли, коротко ли, а дошлялся я до того, что надо ложиться в больницу... И что ж вы думаете? Как дошлялся я до этого, вдруг мне стало Аграфену жаль... Так мне, стало ее жаль – страсть! Вспомнил я, сколько она, бедная, меня любила, как за мной ходила, все деньги свои кровные на меня провела – и вдруг я ей скажу... Ведь она помереть должна от огорчения... Мне бы сейчас сказать, а я пожалел и не сказал... Вижу я, что и она пропадает, молчу и жалею. А она видит, что я жалею, – рада, горькая, радешенька, не знала, как и угодить... Наконец, того, стали ей говорить: «Михайла твой так и так»... Куды тебе! Так и лезет к морде тому,

кто скажет. Ни капли веры не дает. «Чтобы мой Михайла?.. Он меня любит (а я только и полюбил ее, как стал виноват), да чтобы он... Все глаза выцарапаю, кто скажет-то. А я гляжу, затаил свою подлость, да еще больше ее жалею... А она все пуще влюбляется, даже не спрашивает – «не может быть этого». А уж где не может быть...

«Барыня сама все раскрыла, заприметила и ту ю же мину-ту обоих нас вон... Аграфену и меня полиция в больницу отвезла. Как узнала Аграфена правду, только поглядела на меня, ничего не сказала, и сделалась с ней точно как падучая... Вспоминать-то страшно об этом, перед богом скажу!.. Как отвезли ее в лазарет, так я с тех пор и не видал ее. А и сам дюже я по ней тосковал, да и сейчас сосет тоска... Долго я в лазарете маялся... Вышел вот месяца четыре назад, всю одежду в больнице проел, лицо у меня, видите, какое, не всякий пустит – сейчас видно, что нехорошо хворал... Идти мне некуда. Думаю: «не разыскать ли Аграфену?» Справлялся и в адресном и в участке – нигде нет. Пошел в больницу, дал писарю последний рубль (сапоги продал), чтобы разыскать... Разыскал. «Сейчас, говорит, она на Преображенский вокзал свезена... Померла вчерась...» Пошел я на Преображенский вокзал, в Гончарной улице – по железной дороге покойников отправляют, – спрашиваю – не знают. Нужно, говорят, номер знать. Гробов-то много, номера обозначены, а который гроб Аграфенин – неизвестно... Паренек тут сидел на станции, плакал: отправил он мать покойницу, значит, багажом сдал

на Преображенскую машину, а квитанцию-то от матери потерял... Теперь и боится, как бы ему на кладбище-то какого-нибудь другого покойника-то не выдали, а пуще всего как бы в матернину могилу другого покойника не положили. У одной генеральши – тоже вот так-то квитанцию от мужа потеряла – так вместо мужа-то бухарца зарыли. Вот и я так-то без квитанции-то... Гробов-то много, а которая тут Аграфена – не знаю... Постоял я, поглядел, поплакал и пошел пешком в деревню... Видите, каков вернулся?»

Он снял картуз и провел ладонью по облезлой голове. На глазах у него были слезы.

– А сестра-то! – сказал он и заплакал, залился и, утирая лицо концом рваной рубахи, шепчет: – теперь бы уж не то кабак, уж и трактир бы...

«Ну, – скажет читатель, – ведь нельзя же предвидеть таких случайностей, как «убийство игрушки»... Таких мелочей, конечно, нельзя предвидеть; но «сиротство», как результат этих бесчисленных «мелочей», благодаря случайностям, обставляющим крестьянский труд, – надо видеть и надо стараться, чтоб оно не было отдано на волю случая и полной беспомощности. На то на свете и живут умные и ученые люди, чтобы неученый человек не пропал напрасну.

Примечания

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПб., 1889.

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль», 1882, XI (с подзаголовком «Из деревенского дневника»). Закончен рассказ в начале июля того же года.

В цикле «Из разговоров с приятелями» Успенский высказал мысль, что в условиях пореформенной России крестьянина сокрушают и валят с ног «случай», «дуновение ветра», «всякая малость» (см. стр. 221 настоящего тома). Эта же мысль выражена Успенским в названии настоящего рассказа («Не случись»), ярко изображающего различные стороны хозяйственного и морального разложения пореформенной деревни, беззащитность крестьянина перед лицом капиталистического развития и порождаемых им влияний.

Описанное в первой половине рассказа дело Ивана Горюнова слушалось в Вологодском городском суде 24 сентября 1882 года («Вологодские губернские ведомости» № 67 от 31 августа 1882 года – «Список дел, назначенных к слушанию в г. Вологде с 15 по 25 сентября 1882 г.»). Как свидетельствуют воспоминания поэта В. Г. Гусева, Успенский лично присутствовал в суде во время слушания дела Горюнова, беседовал о нем с Гусевым, выступавшим в качестве свидетеля

по этому делу, и принимал живое участие в судьбе подсудимого («Русская мысль», 1902, XI, стр. 111–112).